

КАТЕГОРИИ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И СЕРДЕЧНОСТИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

В последние десятилетия художественная философия Достоевского с ее устремленностью к *тайне человека* подвергается многосторонней ревизии (атаке), связанной с общими тенденциями пересмотра базовых ценностей искусства. Общий культурный контекст в корне отличается от середины XIX в. – времени, когда творил Достоевский. То, что сегодня именуется современностью, химерично и чревато катастрофами, утверждают философы и социологи; и еще М. Хайдеггер метафизически удивлялся, полагая, что человечество живет вплотную к точке полночи, но успокаивает себя вечным «нет, кажется, еще нет». Развязка, однако, рано или поздно наступит; она может затянуться, отложиться, но невозможно не заметить, как настоящее исполнено ее тревожными знаками.

«Трудно назвать другого писателя, который бы в такой мере был *антропологичен*, как Достоевский», – писал богослов, искусствовед и педагог С. Н. Дурылин 85 лет назад.

У него – все о человеке, *около* человека и *по поводу* человека <...>. Судьбы человека на земле так трагичны, а повесть о человеке имеет такое космическое значение, что для космоса почти не остается места. Человек с его судьбами как бы пожирает все его внимание, всю творческую заботу писателя. О космосе Достоевский думает только всегда в связи с человеком: его взор – творческий и мыслительный – всегда упирается в человека <...>. Романы Достоевского так густо населены человеком, в них так много «человеческого», слишком человеческого».¹

¹ Дурылин С. Н. Пейзаж в произведениях Достоевского // Достоевский и мировая культура. М., 2009. № 25. С. 477–480.

«Человеческое, слишком человеческое» (Ф. Ницше), присущее Достоевскому, как раз и является мишенью; фокус современных проблем как раз и сосредоточен в антропологии. Новое смутное время в России, как его определяют современные философы, это время распада и утраты цельности, принявшее абсурдно-карнавальное обличье, время торжества подмен и химер, безостановочного кружения, время краха гуманитарного знания. Речь идет о резких, кардинальных изменениях, которые не укладываются в понятия прежней, классической антропологии.

Современный русский философ С. С. Хоружий, глубоко чувствующий проблему нового смутного времени, пишет:

Человек обнаруживает непреодолимую волю и тягу к экстремальному опыту любых видов, включая виды опасные, асоциальные, трансгрессивные, к радикальным экспериментам над собой. Обретают популярность проекты покончить вообще с Человеком, превратить его в какое-либо другое существо, Постчеловека. В такой ситуации антропологическая рефлексия разбужена и активизирована, идут интенсивные поиски новой антропологии <...>. Отнюдь не всегда было так. Серебряный век, с упоением погружавшийся в Достоевского, искал в нем метафизику, богословие, истово стремился найти у него пророчества, социальные и религиозные проекты... Теперь все это отошло. Сегодняшнего человека, с беспокойством обнаруживающего, что облик его непонятно и неподвластно ему меняется, в первую очередь занимает облик человека в романе, воплощенная в нем антропологическая модель.²

Что же отошло и что пришло на место прежней, классической антропологии? В течение XX в. не раз провозглашались самые различные «упадки», «концы» и «смерти»: «конец метафизики», «конец философии», «смерть автора», «смерть субъекта», «смерть человека» и т. д. Взгляд на современность как на один из переломных исторических моментов стал привычным, даже обыденным. В конце XX в. многие российские исследователи осознали тот факт, что человечество вступило в постхристианскую эру и переживает процесс, обратный тому, который переживало оно при вхождении христианства в историю.

В начале 1960-х гг. получила новое развитие ницшеанская идея о смерти Бога: современная культура больше не является

² Хоружий С. С. «Братья Карамазовы» в призме исихастской антропологии // Там же. С. 14.

проводником Евангелия, и человек уже не способен через культуру прийти к пониманию Высшего. Времена, когда христианство составляло ценностный стержень национальных культур, безвозвратно ушли. Понять себя или другого легче без Бога, чем с Богом. Бог, бытие которого уже не пытаются доказывать, стал бесполезным для человека, ищущего решения своих проблем. Понятие «Бог» находится вне эмпирики и потеряло всякий смысл для современного человека. Поэтому и реинтерпретация Евангелия должна быть без слова «Бог». Человек нуждается в богословии без Бога. В 1965 г. была издана книга «Секулярный смысл Евангелия», принадлежащая перу священника Епископальной церкви Пола Мэттью ван Бурена. Ван Бурен утверждал, что на базе новой теологии в 80-х гг. XX в. в США, наряду с активной популяризацией Жака Дерриды, на базе теологии смерти Бога оформилась деконструктивистская теология или теология «смерти теологии».

Следуя идеям Ж. Дерриды, теологи-деконструктивисты (К. Рашке, М. Тейлор) констатируют уход из человеческой жизни трансцендентного измерения, фиксируют кризис традиционного богословия, заявляя о смерти любой теологии, основанной на метафизике и понимании Бога как сверхъестественной реальности. Словно иллюстрируя положения новой теологии, В. Пелевин в романе «Ампир “В”», где действуют герои-вампиры, стремящиеся контролировать человечество, утверждает: «Когда человек начинает размышлять о Боге, он становится похожим на обезьяну в маршалском кителе, которая скачет по цирковой арене, сверкая голым задом».³

Тенденции начала XXI в., описываемые как *состояние-после*, как *пост-мир*, еще радикальнее. Смерть Бога означает не только «смерть субъекта». Должен «умереть» и сам человек, должна состояться «смерть памяти». Если перестает существовать нормативный и идеальный образец человека, исчезает идея его вечной и неизменной природы, то человек оказывается подвластным обратной эволюции. Сегодня философы говорят о наступлении эпохи уже даже не *постхристианской*, а *постчеловеческой*, которая наступила вследствие «смерти Бога».

³ Пелевин В. Ампир «В» (2006) // http://fictionbook.ru/author/pelevin_viktor_olegovich/ampir_v/read_online.html?page=17

Постчеловек не осознает себя человеческим существом, связанным с другими людьми. Общество постчеловеков, живущих в постмире, глубоко атеистично и иррелигиозно и являет собой актуализацию тезиса «амбивалентности Добра и Зла».

Постчеловек не помнит своего прошлого. Он избавлен от необходимости рефлексии над историей. Постчеловек обращен в секты тоталитарного содержания, которые заставляют его отречься от своего Я и принять за истину некий универсальный код сознания, нечто вроде прошивки микросхемы.

В *ситуации-после* эстетика европейского гуманизма, основанная на антропоцентризме, прагматизме, рационализме и поклонении человеку, уступает место другим эстетикам и художественным практикам, из которых человек вытеснен или занимает там подчиненное положение. Декларируется утрата интереса к человеку, разочарование в нем и его возможностях, поражение человеческой цивилизации вообще – люди более не волнуют искусство, обратившееся к монстрам, демонам, вампирам и оборотням. «Он человек, и для него это само по себе трагедия», – этим чувством пронизаны тексты современной культуры. «Положительно прекрасный человек», которого искал Достоевский, и стремление отказаться от человеческой природы, понимаемой как трагедия, – вот путь, который проделала культура после Достоевского, сменившая такие максимы, как «человек – это звучит гордо» на отказ от человеческого мира. «Хорошо, что я не человек», – говорит оборотень из современного культового романа русского писателя-фантаста С. Лукьяненко «Ночной дозор», герои которого, «иные», гордятся, что не имеют с жалким племенем людей ничего общего.⁴ «Священная книга оборотня» – так называется роман-манифестация В. Пелевина, где оборотни – это и есть реальные люди, вампиры – улучшенные человеки, а традиционные человеки – это не понявшие свою суть бесхвостые обезьяны.⁵

В романе А. Потемкина с символическим названием «Человек отменяется» озлобленная мысль героя хочет уничтожить человеческий род, волевым, самовластным рывком прекратить жизнь на земле.

⁴ Лукьяненко С. Ночной дозор (1998) // <http://www.erlib.com/>

⁵ Пелевин В. Священная книга оборотня (2004) // <http://lib.rus.ec/b/42092>

Я пытался, я хотел любить человека, но из этого ничего не получалось. Не встретил я его, не раскрылся он передо мной россыпью своих талантов. Теперь же я его больше не ищу. Он ни мне, ни материи не интересен. Он никому, кроме себя самого, не нужен. Человек! Ты отменяешься!⁶

Агония рационализма, отказ от концепции человека как *меры всех вещей* приводят, таким образом, не к возрождению идеи Бога, а к идее смерти Бога (который, согласно Ницше, был убит людьми) и, как следствие, к отказу от человеческой природы. Протест против эстетики Просвещения, ее замороженности и очарованности человеком возвращает европейскую цивилизацию не к Богу, и даже не к сверхчеловеку: выбор делается в пользу не-человека.

Если в творческих замыслах Достоевского идеал положительно прекрасного человека составлял смысловое и эмоциональное ядро, а его хриstopодобные герои заключали в себе возможный на земле *максимум человеческого*, становясь этическим и эстетическим каноном эпохи, то новая эстетика, провозглашающая приоритеты постчеловеческого и внечеловеческого, героизирует бывшего («погибшего») человека, готового сдать в архив (или в утиль) все человеческое. В центре внимания масскульта – существо, сознательно перешедшее на «другую сторону», отдавшееся «тьме» и наделенное поэтому inferнальной силой. Художественную литературу заполняют уже даже не сверхчеловеки, а трансчеловеки и постчеловеки, а то и просто нелюди («иные», «моги», «оборотни» и т. п.). Знаменитое выражение Ф. Ницше «человеческое, слишком человеческое» неожиданно обрело сверхсмысл: «человеческое» и «слишком человеческое» как категории этики и эстетики исчерпали себя. Очевидно: подобная тенденция радикально противостоит идее Достоевского о *восстановлении погибшего человека* как центральной мысли всего искусства XIX в.

Мы движемся к постантропологической развязке. С конца XX в. классический социум стоит на пороге фундаментальной качественной метаморфозы, как говорили оптимисты, или крушения, как подозревали пессимисты. Момент истории, в которой мы живем, трактуется «социологами глубин» (так

⁶ Потемкин А. Человек отменяется (2007) // <http://www.gramotey.com/books/1269091758.htm>

называют себя современные философы-метафизики) как *со-скальзывание в ночь*.

Надо осознать нашу роль в развитии Природы, в развитии Высшего Разума и смириться с ней, говорит новая эстетика. Человечество выполнило историческую миссию, подошло к своему концу, дав начало более высокой, электронной цивилизации. И оно должно уйти с исторической сцены, не цепляясь за существование и не чиня всевозможных препятствий появлению нового, электронного общества. Нашим утешением может быть то обстоятельство, что мы, видимо, первые в нашей Галактике, а возможно, и во Вселенной породим электронную цивилизацию. Как только электронный мозг достигнет человеческого уровня, окажется, что человечество выполнило свою историческую миссию и не нужно более ни природе, ни Богу, ни простой целесообразности.

Достоевский провидчески угадал, что для приспособления к новому времени, о котором твердил в «Бесах» Петр Верховенский, необходима новая антропология: надо чтобы человек обратился в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь. В начале XX в. идеологи революции вывели постулат: процесс углубления революции потребует *органического* перерождения человека. Персонаж романа А. Потемкина «Человек отменяется» приходит к выводу: человек – мразь, гниль, ничтожество, не заслуживает ни уважения, ни любви, и «мир вокруг него не стоит и ломаного гроша». «Мысль о том, что нынешний человек отменяется, – это точка зрения не тех или иных героев моего романа, это прежде всего точка зрения автора», – утверждает А. Потемкин.

Надо срочно приступить к изменению человека – так я думаю сегодня. Что делать? Возвращаться в прошлое невозможно с нынешним семимиллиардным населением. Единственное, что остается, – генетически модифицировать человека, и чем быстрее, тем лучше! В этом случае кардинально изменятся традиционные человеческие ценности. Есть интеллектуалы и биомасса. Разум не связан с общей биомассой, он развивается лишь в узких пределах избранный. Ресурсы заканчиваются, общество идет к полному собственному уничтожению. Уцелее лишь интеллект, сконцентрированный в разуме. Люди с высоким интеллектом в конце концов продумают, как постепенно избавиться от мешающей развитию разума массы.⁷

⁷ Потемкин А. Человек неотменимый. Споры о романе Александра Потемкина «Человек отменяется» // Завтра. 2008. Июнь (№ 24). С. 24.

Современный роман проговаривается о симптомах перемен; в нем отражаются общественные настроения, новый моральный, эстетический, социальный опыт. В нем проступают черты общества, которое заявляет о себе невнятным языком аллегорий.

Постгуманизм, о котором говорят сегодня как о явлении философии искусства, не просто отрицает гуманистические ценности и постулаты, сформированные на пороге нового времени. Постгуманизм – это констатация объективного иссякания человечности (в ее традиционном понимании) в технократическую эру. Живая человеческая личность со всеми ее бедами и победами не представляет более самостоятельной ценности. Гибнет и разлагается сама человеческая природа, утверждает постгуманизм, а копеечные цены на духовные продукты приводят к этнической деградации. Постаптропологическая ситуация нуждается в более глубоких мутациях – на арену истории должны вступить уже в полном смысле слова постчеловеческие существа – клоны, киборги, виртуалы, инферналы, трансчеловеки и постчеловеки, существа с динамической способностью к адаптации. Современного читателя и зрителя словно приучают к мысли, что человеческий вид неполноценен и нуждается в доработке. «Все уже запущено, – размышляет «социолог глубин» А. Дугин. – Раз есть ограничение на выведение постчеловеческих видов, раз они технологически возможны, и раз существует формальный юридический запрет на развитие таких технологий, значит, эти технологии находятся в последней стадии подготовки. И *постчеловек стоит наготове*. Технологически это уже почти возможно, но морально пока еще нет».⁸

Идея «восстановления» души человеческой, задача «найти в человеке человека», стремление изобразить «все глубины души человеческой» терпят натиск и с другой стороны. Игровые эстетики стремятся представить категории *человечности* и *сердечности* в литературе как смехотворно устаревшие, как объект пародии. «Бога нет – все дозволено» – этот неизбежный выбор «всякого безбожия», по Достоевскому, воплотился в культурную практику и стал главным принципом постмодернизма, его девизом; при этом «все дозволено» и в обратной ситуации,

⁸ Дугин А. Г. Современная идентичность России. Лекция (2009) // <http://konservatizm.org/regions/rostov/200409135647.xhtml>

когда «Бог есть», как индифферентно декларирует постмодернизм. Холодная игра декларируется как норма, а повышенный градус человечности – как подозрительное уклонение, почти уродство. Героями постмодернистской литературы стали антигерои Достоевского. Постмодернизму интересно лишь измененное сознание, как бы на стыке антропологии и психологии; причуды «опийного воображения», в которое впадают шаманы под влиянием наркотиков и галлюциногенов: грибов, мухоморов, травок. Освобожденное сознание – это и есть сознание, когда нет Бога, нет моральной ответственности, нет анализа и самоанализа. Литература постмодерна обнаруживает, что жизнь человека цветет буйным цветом на уровне потребления и убийственно опустошена на уровне смысла.

«Человеческое и слишком человеческое» вытесняются из обихода культуры и радикализмом другого сорта. Православный фундаментализм провозглашает критерием культуры *церковность*, точнее, уровень воцерковленности автора и героев. Принцип церковности работает двояко – либо «оправославливает» словесность, либо отлучает тех или иных ее представителей от христианской традиции. При этом *человеческое* трактуется как второстепенное, едва ли не ущербное. Радикальная «новоцерковная» эстетика ставит под сомнение, можно ли вообще зачислять продукт художественного вымысла в ряд «духовного», и полагает, что, например, «высокая литература» узурпировала понятие «духовность», самозванно захватив нишу религии, веры, церкви и неправомочно претендуя на роль учителей жизни. Отсюда вывод: тексты Достоевского, как и всей «высокой литературы» XIX и XX вв., – кощунственная пародия на связь человека и Бога, воплощенное зло и подмена истинной духовности, на которую у литературы никогда не было прав. И чем более литература претендует на духовность, тем большая опасность от нее – как от лживой мимикрии под духовность – исходит.

Так, роман М. Елизарова «Pasternak» (2003) назван русской критикой «православным философским боевиком». Поэт Борис Пастернак представлен здесь в образе демона, отравляющего сознание интеллигенции своими произведениями. Часть либеральной критики назвала книгу «трэшем», «тошнотворным романом»: когда коричневый цвет входит в моду, появляются его поклонники и в литературных кругах. Леворадикальные газе-

ты, напротив, высоко оценили этот роман, полагая, что в нем в полном блеске явил себя необузданный русский реванш, как ответ на все унижения и оскорбления русской нации, русского характера, русской веры и русской мечты. Сквозь полный набор авангардных литературных приемов, сквозь филологичность текста и густую эрудицию молодого писателя, не уступающую ни Умберто Эко, ни Милораду Павичу, критика разглядела яростную защиту незыблемых вековых духовных ценностей русского народа. Как выразился сам М. Елизаров, Пастернак ему никогда не нравился, мол, человек талантливый, но какие-то отвратительные поэтические принципы плюс такие же человеческие качества; за поэтическим айсбергом стоит «поганая либеральная гнусь».

Герой романа, как и автор, убеждены в несостоятельности этого типа духовности. «Каждый писатель в некотором смысле религиозен, поскольку вдыхает жизнь в придуманные им образы, но это, выражаясь в дантовской терминологии, лишь “Божественная Пародия” на действительную связь между человеком и Богом, “похоть очей”, как говорил апостол Иоанн. Принято говорить, что светская литература также дает представление об этике, морали и способна подтолкнуть к размышлениям о высоких материях. Но человеку, приучившему себя однажды питаться “художественным”, опошленным бытием, “божественное” становится не по вкусу». Приведу еще один фрагмент романа: «Чтение растворяет личность, она живет чужими эмоциями, отдавая душу на растерзание бумажным, но от этого не менее пагубным страстям. Литература схожа со склепом, в котором страница за страницей, камень за камнем замуровывается дух. Не нужно думать, что художественная литература – зло. Она становится его носителем только в том случае, когда начинает претендовать на духовность, а вот на нее у литературы никогда не было прав. Духовность отсутствует как понятие в этом вымышленном мире. Художественные ландшафты разнятся только степенью демонического. Вред от грубого скоморошничанья “Луки Мудицева” невелик. Откуда там взяться дьяволу? Спрятаться негде. А заумный пафос какой-нибудь “Розы Мира” в сотни раз опаснее своей лживой спиритической мимикрией под духовность».

Радикальная новоцерковная эстетика провозглашает тезис о вредности литературы как демонского зла. Покуда су-

шествуют Бог и религия (несмотря на все усилия по их отмене и профанации, предпринятые в первую очередь именно писателями – от Вольтера или Толстого до того же Пастернака), литература не может претендовать на духовность без кавычек. Идеализация чтения как «особого» способа интеллектуальной и паче чаяния духовной жизни (вкуче с выражениями «человек книги», «человек читающий» и т. п.) есть не что иное, как ересь и сектантство, ведущие к вырождению той самой духовности (существования в ладу с Богом), закавыченное имя которой пишут на своих знаменах образованцы от литературы.

Православный писатель В. Крупин, принадлежащий к радикальному крылу, утверждает:

Если литература, как слово, вышедшее из церковной проповеди и молитв, – уходит далеко от церкви, то она становится блудной дочерью <...>. Литература каким-то образом выдумала понятие художественного образа. То есть литература отдельно – жизнь отдельно. В литературе есть образы Болконского, Наташи Ростовой, Павла Корчагина. А в жизни – соседка, которая насыпала соли на коммунальной плите и ушла <...>. Художественная литература могла бы быть огромной помощницей в воцерковлении людей, если бы приводила людей к чтению святоотеческой литературы, если бы после Пушкина читали святителя Игнатия Брянчанинова, Тихона Задонского, Иоанна Златоуста, Василия Великого.⁹

В. Крупин полагает, что литература, которая не воцерковляет читателя, бессмысленна:

Зачем нужна еще одна среди многих тысяч бесполезных книг? Зачем вообще нужна русская литература? Показать нам самих нас, как в зеркале? Хорошо. Обличить недостатки? Еще лучше. И что дальше? Светские книги нужны, чтобы привести нас к Евангелию. Другого назначения у них, особенно написанных на русском языке, быть не должно <...>. *Православным произведением может считаться такое, художественная идея которого включает в себя необходимость воцерковления для спасения.* Его герой либо воцерковлен, либо антицерковен, либо на этапе движения от одного состояния в другое, либо, наконец, равнодушен к Церкви. Но если нет этой соотнесенности с Церковью, говорить о православии неправомерно.¹⁰

⁹ Крупин В. Литература и Православие. Беседа профессора Владимира Мельника с писателем Владимиром Крупиным (2005) // <http://rusk.ru/st.php?idar=103725>

¹⁰ Там же.

Кажется, в ответ на такое писательское размышление Достоевский мог бы возразить: «Мы пуритане по крови; мы мало любим жизнь, и потому искусство кажется нам соблазном» (19, 138).

«Мы занимаемся литературой, не желая произносить безответственных слов о религии, христианстве и зная, что в русской литературе заключена такая сила подлинной религиозности, что, говоря только словами, мы скажем все, что нужно, и сделаем свое дело», – говорил Д. Мережковский в начале века, и в правоте этих слов сейчас трудно усомниться.¹¹

Перед европейской и русской культурой стоит задача сбережения и защиты лучшего из своего наследия. Необходимо переосмысление своей идентичности перед вызовами современности. Необходимо понимание, что выживет, что останется от классической литературы, в частности от творений Достоевского, в «ситуации-после» – «после метафизики», «после деконструкции», после религиозного фундаментализма. На сколько еще времени хватит ее жизненных ресурсов?

Об этом дерзновенно писал английский мыслитель и блестящий апологет христианства Г. Честертон:

Ожидалось, что христианство наконец-то поблекнет в трезвом свете Века Разума; ожидалось, что оно окончательно исчезнет в катаклизмах революционной эпохи. Оно было «разоблачено» наукой – но тем не менее оно все еще с нами. Историки отыскивали его в прошлом – а оно вдруг замаячило в будущем. Они станут следить за ложными шагами христианства, ловить его на ошибках, – но им не суждено будет присутствовать при его конце. Бездумно, даже скорее бессознательно, своей молчаливой бдительностью они приблизят сроки исполнения изумительного пророчества: они забудут о том, что следят за угасанием того, что уже не раз как бы навеки угасало, и невольны поймут: более плодотворным занятием было бы следить за полетом комет или ждать остывания раскаленной звезды.¹²

В 1925 г., глядя на ситуацию в христианском мире, Честертон написал слова, не потерявшие своей актуальности и по сей день:

Мы знаем, как случилось чудо – молодые поверили в Бога, хотя Его забыли старые. Когда Ибсен говорил, что новое поколение стучит-

¹¹ Зобнин Ю. Мережковский. Жизнь и деяния. М., 2009. С. 396.

¹² Честертон Г. Вечный человек // http://krotov.info/library/24_ch/ches/terton_061.htm#2

ся в двери, он и думать не мог, что оно стучится в церковные врата... Да, много раз – при Арии, при альбигойцах, при гуманистах, при Вольтере, при Дарвине – вера, несомненно, катилась ко всем чертям. И всякий раз погибали черти.¹³

Человеконаправленным назвал Достоевского современный русский писатель-классик В. Распутин:

Достоевский стоит не в ряду самых великих имен мировой литературы, впереди или позади кого-то, а над ними, выше их. Это писатель другого горизонта, где ему нет равных. Были и есть таланты блестящие, яркие, сильные, смелые, мудрые и добрые, но не было и нет (и не будет, на мой взгляд) явления в литературе более глубокого, более центрального, необходимого, более человеконаправленного и вечного, чем Достоевский. Человеческая мысль дошла в нем, кажется, до предела и заглянула в мир запредельный... Похоже, что кто-то остановил руку великого писателя и не дал ему закончить последний роман, встревожившись его огромной провидческой силой. Это было больше того, что позволено человеку; благодаря Достоевскому человек в миру и без того узнал о себе слишком многое, к чему он, судя по всему, не был готов.¹⁴

Запредельная человеконаправленность – залог непреходящей актуальности Достоевского, его способности «пробить сердце» читающего и слушающего. Мир его романов – *антропокосмос* – начинается человеком и им исчерпывается. Изображение жизни у Достоевского осуществляется в формах самой жизни, вне «изначальной» поэтики и оккультной символики, вопреки религиозному ригоризму и постмодернистскому безразличию. Эстетика слишком *человеческого* и обращенного от сердца к сердцу – квинтэссенция его философии, сердцевина смыслов, центр художественного бытия. Линия «слишком человеческого» прочерчена Достоевским от первого романа до последнего.

«Бедные люди»: «Ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменные; слова их жестокие. “Прочь! убирайся! шалишь!” Вот что слышит он [ребенок] от всех, и ожесточается сердце ребенка, и дрожит напрасно на холоде бедненький, запуганный мальчик, словно птенчик, из разбитого гнездышка выпавший. Зябнут у него руки и ноги; дух занимается» (1, 87). Каменные

¹³ Там же.

¹⁴ *Распутин В.* Ответ на анкету о Достоевском // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1983. № 5. С. 66–67.

сердца, окружающие Макара Девушкина, – это рок бедняков, их трагедия, это антропологический приговор бездушной, вечно торопящейся российской столице.

«Преступление и наказание»: «И в это мгновение такая ненависть поднялась вдруг из его усталого сердца, что, может быть, он бы мог убить кого-нибудь из этих двух: Свидригайлова или Порфирия. По крайней мере, он почувствовал, что если не теперь, то впоследствии он в состоянии это сделать. “Посмотрим, посмотрим”, – повторял он про себя» (6, 342). *Усталое сердце, помраченное сердце, теоретически раздраженное сердце* – эмоциональный ключ к пониманию образа Раскольникова, мотивов его преступления.

«Помутившиеся сердцем» и «бессердечные» противостоят у Достоевского людям с «чистым сердцем», с сердцем «мудрым» и «целомудренным». При столкновении сердца прыгают, замирают, стучат, бьются до боли, дают сбои, разбиваются.

Лизавета Прокофьевна Епанчина («Идиот»), которая в мире Достоевского воспринимается как эталон сердечности, говорит своей младшей дочери: «Не усмехайся, Аглая, я себе не противоречу: дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца. Старая истина. Я вот дура с сердцем без ума, а ты дура с умом без сердца; обе мы и несчастны, обе и страдаем» (8, 69).

Задумав создать в «Бесах» «обворожительного демона», Достоевский делился с издателем, М. Н. Катковым, своими надеждами: «Мне очень, очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу приговор, что лицо ходульное. *Я из сердца взял его*» (29, 142, курсив мой). Писатель не скрывал, что его обворожительный демон – мрачный злодей.

«Пусть заплачет и он, иерей Божий, – говорится в поучениях старца Зосимы в «Братьях Карамазовых», – и увидит, что сотрясутся в ответ ему сердца его слушающих. Нужно лишь малое семя, крохотное: брось он его в душу простолюдина, и не умрет оно, будет жить в душе его во всю жизнь, таиться в нем среди мрака, среди смрада грехов его, как светлая точка, как великое напоминание» (14, 266). Приведу еще один фрагмент из этого романа: «Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой» (14, 100). Здесь – ключ к горячему сердцу Дмитрия Карамазова. «Сердечные ключи» читатель

обнаруживает и в «Идиоте». «...рай – вещь трудная, князь, гораздо труднее, чем кажется вашему прекрасному сердцу» (8, 282), – говорит Мышкину великосветский гость Епанчиных князь Щ. Еще более выразителен пример из «Кроткой»: «...я хотел широкости, я хотел привить широкость прямо к сердцу, привить к сердечному взгляду, не так ли?» (24, 13).

Человек Достоевского – это человек потрясенного сердца, человек животворящего духа. Антропокосмос Достоевского несет не информацию, и даже не свидетельство, а потрясение от встречи (с мыслью, чувством, идеей), передаваемое прямо, непосредственно, т. е. без посредников.

Страстным и сердечным высказыванием Достоевский стремился хоть на единый исторический миг задержать в холодеющем мире волнение потрясенного сердца. Как отличается нервный, задыхающийся голос петербургского литератора от великолепия, неторопливости, грамотного спокойствия официальной церковной проповеди! «Достоевский точно ударами в сердце напоминает о Христе», – утверждал богослов и духовный писатель С. И. Фудель в своей книге о Достоевском.¹⁵

«Не *верьте* ему, когда он хвалится, что знает *монашество*; он знает хорошо только свою *проповедь любви* – и больше ничего!»¹⁶ – уличал Достоевского К. Н. Леонтьев, полагая, что компрометирует писателя в глазах его восторженного поклонника и интерпретатора.

На самом деле *больше ничего* и не нужно.

Только это и может остановит *соскальзывание в ночь*.

¹⁵ Фудель С. И. Наследство Достоевского. М., 1998. С. 249.

¹⁶ Леонтьев К. Н. Письма к Василию Розанову. Лондон, 1981. С. 46.